

Б И Б Л И О Т Е К А

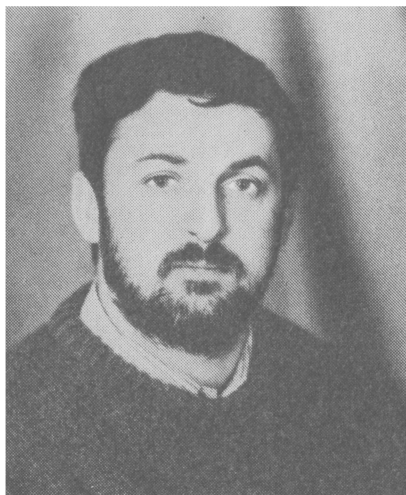
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 42

1990



Константин БАРШТ

ПОДЦЕНЗУРНЫЕ СТРАСТИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 42

Издается с января 1925 года

Константин БАРШТ

ПОДЦЕНЗУРНЫЕ СТРАСТИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

Константин БАРИШТ

Константин Абрекович Барист родился в 1950 году в семье военного летчика, ветерана Великой Отечественной войны.

Литературной работой К. Барист занимается с 1968 года. В 1972 году он окончил факультет русского языка и литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена. Затем, в течение последующих тринадцати лет, работал научным сотрудником Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского.

Начиная с 1978 года систематически публикует работы о творческом наследии Ф. М. Достоевского в советских и зарубежных журналах и научных сборниках. В 1985 году К. Барист защитил кандидатскую диссертацию «Роль и значение графики Ф. М. Достоевского в его литературном творчестве» в ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом). С 1988 года читает курс русской литературы XIX века в Ленинградском институте культуры им. Н. К. Крупской.

Эта работа К. Бариста — в дополнение к его предыдущим публикациям на эту тему («Огонек» № 10, 1990, газета «Смена», 21 мая 1990 года) — попытка привлечь внимание всех, кто заинтересован в Перестройке, на тот факт, что свобода слова, свобода печати и всех видов информации — основание и условие осуществления всех многочисленных реформ, в которых так остро нуждается наше общество.

СПОСОБЫ УКРОЩЕНИЯ ПЕЧАТНОГО СЛОВА

Введение.

«Гласность в настоящее время составляет ту милую болячку сердца, о которой все говорят дрожащим от радостного волнения голосом, но вместе с тем заметно перекосивши рыло в сторону».

*М. Е. Салтыков-Щедрин
Сатиры в прозе.*

Некоторые думают — среди них и друзья, и враги Перестройки, — что в ее процессе перестраивается лишь то, что построено в XX веке. Чаще всего именно так. Однако нередки случаи, когда мы, сами того не ведая, беремся за проблему, корни которой уходят в глубины веков — вплоть до реформ Петра Великого или Крещения Руси. Не отыскав этих корней, нельзя правильно обращаться с таким деликатным растением, как общественная проблема: иначе легко перепутать ботву и корни, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не случайно главным способом превращения общества в безгласную и покорную толпу, широко и эффективно использовавшимся тиранами XX века, была жесткая и целенаправленная цензура печати, административное управление духовной жизнью, культурой. Однако словом, так же, как истиной и культурой, управлять нельзя — их можно только полностью или частично запретить. Не более того.

«Веруешь по житию», — говаривали русские православные монахи. «Бытие определяет сознание», — подтвердил затем Карл Маркс, под «бытием» тоже понимая, конечно, отнюдь не «быт». Качество жизни человека и общества прямо зависит от возможности сделать выбор в условиях свободы. Идет ли речь о выборе между несколькими сортами колбасы в гастрономе или о выборе между несколькими вариантами решения политической проблемы. Вот почему бытие печатного слова определяет сознание общества — на всех уровнях, в том числе и в смысле его готов-

ности к демократическим преобразованиям и экономическим реформам.

Мысль о первостепенной важности экономических проблем. Дескать, нужно вначале накормить страну, а потом заниматься, по мере возможности, всякими другими делами: культурой, искусством, словесностью. Подобно мольеровскому персонажу, который не подозревал, что всю жизнь говорит прозой, мы забываем, что сама возможность говорить о второстепенности вопроса о свободе печати обеспечивается той же свободой печати! Критиковать воздух, которым дышишь, — можно, но не дышать — нельзя. Экономические вопросы связаны с тем, на каком уровне благосостояния будет жить наше общество; вопрос о свободе слова — это вопрос о том, быть или не быть человеку в его подлинно человеческом смысле.

Такого рода выбор в свое время был предложен дьяволом Христу: «обратить камни в хлебы», накормить голодных, а потом уже, на сытый желудок, слушать проповеди о свободе искания истины о себе и мире. «Не хлебом единым жив человек», — ответ, подразумевающий, что есть и другой, не менее важный источник питания человека, хлеб духовный. Занимаясь «счастьем человека», понимаемым как его материальное благосостояние, мы становимся похожи на автолюбителя, который никак не может понять, почему его автомобиль с полными баками бензина глохнет в безвоздушной среде. Оказывается, забыли о существовании того, чего всегда было так много; и вдруг вспомнили — когда не стало хватать... Рост преступности, коррупция, бездуховность — все это только последствия нашей неистовой погони за «хлебом единым». Свобода слова — условие жизни общества, его нормальной, эффективной работы во всех сферах и на всех уровнях. Включая, конечно, и экономику.

Степень свободы общества и степень освобождения печати на удивление точно совпадали в истории нашей страны. С «гласности» Екатерины II начались, выражаясь современным языком, «неформальные объединения» второй половины XVIII века. Затем Павел I запретил слова «культура» и «гражданин» и привел страну в болото унылого, казарменного распорядка. Александр I начал свое царствование с отмены «тайной полиции» и установления ряда «послаблений» печати. Кончил же тем, что приступил к «приручению» Пушкина, которое завершил затем по-своему Николай I. Эта синусоида продолжалась и далее. Застой, болото, общественное удушье — эти слова повторялись до тех пор, пока правительство не выпускало «лишний пар» и давало «послабления». Общество наслаждается свободой, как человек, которому сказали, что он освобожден из-под стражи. Но затем он вдруг замечает, что эта свобода — свобода перемещения по тюремному дворику и что прогулка в любой момент может закончиться. Тогда появляется стремление к гарантиям, законам, твердым и выполняемым. Как формулировал в своем

известном письме к Н. В. Гоголю В. Г. Белинский: важнее новых хороших законов — навык чтить законность и правопорядок, умение мыслить правовыми категориями.

Отсутствие свободы в распространении информации сравнивают с «перекрытием кислорода». Каковы последствия контроля нескольких лиц за тем, какую информацию оглашают или потребляют остальные члены общества? Кому это выгодно и есть ли (а если есть, то какая и кому) выгода от такого положения вещей? Совместимо ли существование гражданских права с ограничением в возможности говорить то, что думаешь, без опасения попасть «в места, не столь отдаленные»? Эти вопросы появились не в период брежневского «развитого социализма» или того «научного феодализма», который мы сегодня стыдливо называем «сталинской моделью социализма».

Они появляются каждый раз, когда общество просыпается от наркотического оцепенения, открывает глаза и задает себе вполне естественный вопрос: где я, и что со мной происходит? — пробует мыслить и говорить о своем теперешнем состоянии. Условие, при котором есть шансы для выздоровления, — сама возможность мыслить и говорить. Возникает потребность гласности и свободы слова — главного условия духовного возрождения общества. Первая мысль: вроде бы все есть, но — некая слабость, немощь. Нечто вроде цинги. Есть макароны, но нет витаминов, и человек тяжело болен. В недостаточности свободы слова общество получает духовный рахит: чрезмерно большой живот (от непрекращающейся мысли о «хлебе едином»), при этом довольно кривые и слабые ножки. А. И. Герцен в своей книге «С того берега» писал, что русский человек по своей внутренней структуре вроде ракообразного: сверху хитиновая скорлупа догм и непререкаемых истин, а внутри — отсутствие скелета. С детства нас учат опираться на какие-то посторонние, внешние предметы, услужливо подсовывая костыли и «опоры». Потом мы убеждаемся, что они не держат, однако и на собственных ногах устоять трудно. И вот, падая на живот, мы упорно ползем к цели. Аппарат, конечно, готов оказать «идейную поддержку», но не в его интересах допустить возможность научиться самим гражданам вырабатывать и осуществлять идеи. Потом они готовы истратить миллионы на инвалидные кресла, но не будут ничего делать, чтобы инвалидов не было вовсе. Эту мысль Герцена пока еще нельзя назвать потерявшей всякую актуальность.

Сегодня духовная инвалидность рядового советского человека — будем называть вещи своими именами — явление распространенное. Она ощутима много яснее, и ее признаки более зловещи, нежели отсутствие товаров в магазинах. Гражданский индифферентизм и принципиальная установка на усвоение готовых к употреблению истин в их окончательной инстанции, моральное «лакейство мысли» (термин Ф. М. Достоев-

ского) долгие годы выдавалось у нас за главную добродетель строителя коммунизма. Презрение к культуре, религии, этике и прочей «лирике» оказывалось чуть ли не символом мировоззрения «передового человека». Перед и зад здесь столь явно поменялись местами, что вызывало к жизни массу анекдотов с моралью «у нас все задом наперед».

Казалось бы, что может быть хуже заглядывания в чужие письма? Законодательства всех цивилизованных стран охраняют тайну переписки. Гоголевский почтмейстер Шпекин, образцовый перлюстратор-любитель, не понравился даже Николаю I на премьере «Ревизора». Однако цензор и перлюстратор — кровные братья, если не родные, то, по крайней мере, двоюродные. Если перлюстратор по собственной инициативе или согласно служебной инструкции читает чужие письма, то цензор — более того! — берет в руки карандаш и ножницы и начинает зачеркивать и резать не понравившиеся ему места. Все это он продельывает с посланием гражданина своей страны — нет, даже не к другому гражданину, — но всему обществу в целом! Цензор — это перлюстратор в максимуме общественной активности. Поэтому цензура не просто противозаконна, она безнравственна, бесчеловечна и противоречит праву человека на свое мировоззрение, праву на духовную жизнь.

Духовная жизнь человека — это поиск им истины о себе, об обществе, о мире в целом; существование цензуры подразумевает, что *истина уже найдена*. Правда, в самом существовании цензуры содержится и отрицание этой найденной истины — ибо, если бы все эту истину признали, то не было бы необходимости защищать ее такими варварскими методами «урезания языка». Самим фактом своего существования цензура утверждает, что официально охраняемая ею «истина» на самом деле — ложь. Итак, политическая цензура — это способ бытия лжи, закрывающей путь к правде. Этот вывод с неумолимой логикой следует из того, что истина и правда никогда не боялись свободной дискуссии. Возникновение идеологической цензуры — симптом «правдобоязни», сопутствующий всем тираническим режимам. Суммируя все это, скажем: сама по себе цензура — лишь проявление, симптом общественной болезни. Если принимать точку зрения, что феодализм — это общественный строй, при котором юридически закреплен принцип неравенства людей в их отношении к истине и друг к другу, то цензура — это типично феодальный государственный институт, глубоко чуждый самой идее демократии.

* * *

Существование цензуры как ограничения свободы выражения мнения хорошо объясняют два определения новостей. Что такое новости? «То, что кому-то хотелось бы скрыть» — и «отсутствие новостей — самая

хорошая новость». Верный друг и соратник всех репрессивно-застойных режимов, цензура — это поводок для печатного слова с регулируемой длиной веревки. Существуют две основные формы цензуры: ведомственная — когда за информацией по определенным вопросам следит соответствующее ведомство, и централизованная — когда цензура сосредоточена в МВД и еще каком-нибудь одном министерстве в виде его отдела или главка. При этом цензура бывает предварительная — когда любой материал, предназначенный для печати, должен обязательно пройти проверку и получить визу, и судебно-правовая (карательная) — при которой автор и издатель могут публиковать на свой страх и риск все что угодно, но в случае, если кто-то сочтет себя обманутым или оклеветанным, должны отвечать за каждое сказанное слово перед судом. Естественно, что последний вариант требует суда присяжных, иначе он оказывается худшим, а не лучшим.

Итак, дважды два — четыре. За каждым из вариантов — тысячи аргументов, примеров, загубленных статей и книг, измученных авторов и редакторов, обессиленных от нечеловеческой работы цензоров. Но выбрать не так просто, если считать, что цензура вообще нужна. Казалось бы, самой прогрессивной с правовой точки зрения выглядит судебно-правовая цензура, действующая, например, в странах Западной Европы и в США, — однако и там есть специальные предварительные цензуры, охраняющие государственную тайну и пр., и там есть редакторы, которые заинтересованы в получении разрешающей визы цензора, полностью освобождающей от ответственности за точность информации. Правда, до 1859 года в России, как и в недавние годы у нас, за крамольную статью головой отвечали все трое: автор, редактор и цензор, а иногда к ним прибавлялся еще и читатель, у которого статью находили. Вот четыре главных действующих лица литературного процесса: редактор, для которого цензура при одних обстоятельствах невыносима, а при других — желательна; автор, который не хочет, чтобы его произведение «улучшала» ведомая «благонамеренностью» рука; цензор, тонущий в море «инструкций»; читатель, которому приелись пресные и постные блюда, приготовленные на цензурской кухне.

Такие редакторы, читатели, авторы и цензоры есть сейчас — были они и 130 лет назад, в 1859 году, когда началась «семилетняя война» русской литературы против беззакония ведомств и их верного помощника — предварительной цензуры. Много воды утекло с тех пор, но сегодняшние дебаты о «гласности» и «свободе печати» — это во многом повторение давно пройденного. И это то самое «хорошо забытое старое», которое так хотелось бы заменить чем-то действительно «новым». Об этой истории хотелось бы напомнить всем, чтобы наша история не напоминала бы «скучную сказку, рассказанную дураком», как ее квалифици-

ровал цитатой из В. Шекспира А. И. Герцен. Давайте, чтобы не повторять старых ошибок, не будем сочинять старые вопросы, ответы на которые уже даны.

* * *

В каждом из возможных решений вопроса о цензуре можно увидеть одну из двух тенденций: первая говорит о том, что нужно больше и больше разрешать, (укреплять «гласность»), вторая — что нужно отметить принцип большего или меньшего разрешения совсем, утверждая «свободу печати». В первом случае законы — это мебель, более или менее удобная для пользования, во втором — ветви одного дерева, ствол которого — положение человека в его отношении к мирозданию в целом. В первом случае говорится о человеке в его отношении к Системе, государству, обществу, во втором — о его отношении к Вселенной. Нужно разобраться, что мы имеем в виду, так как довольно ясно, что первые часто не понимают вторых, вторые, как правило, понимают первых, но не могут согласиться с их точкой зрения. Прежде всего нужно правильно поставить вопрос, чтобы правильно его решать. Все общественные вопросы — и вообще все вопросы, ставящиеся и решаемые в нашем мире — частные случаи вопроса о цели и смысле жизни человека и человечества. Нельзя решать вопрос о цензуре отдельно от вопроса о сущности и формах общественной духовной жизни. Свободный от запретов разум человека может найти путь к истине, может и не найти; разум человека, опутанный сетью запретов, в любом случае найти истину не сможет.

Вопрос о том, кому, где и что можно писать и издавать, — старый и наболевший вопрос. Он был краеугольным камнем всех общественных полемик в дореволюционной России. Этот вопрос широко обсуждался в 1920-е годы, он же снова возник в печати с середины 1980-х. В промежутке между этими двумя периодами тема свободы слова как бы ушла в подполье — вместе со всеми реальными основаниями для демократии, дающими ему право на существование. «Там, где не погибло слово, там и дело не погибло», — твердо сказал А. И. Герцен, отправляясь в Лондон создавать вольную русскую печать и намереваясь таким способом подорвать цензурные запреты, действующие на его родине. Гибель свободного слова — бедствие для страны не меньшее, чем отсутствие продуктов или промышленных товаров. Говоря прямо — большего зла для общества и не придумать. Кроме разве что физического уничтожения.

В истории того, как полицейский надзор за литературой, учрежденный Николаем I, был заменен Законом о печати 1865 года, есть немало такого, что было бы интересно и бесполезно нам вспомнить сегодня.

1. «ГЛАСНОСТЬ» 1850—1860-х ГОДОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЛАВНОГО ЦЕНЗОРА РОССИИ

*«Тебя пою, родная пресса!
Твои мне милы красоты:
Благонамеренность прогресса
И скромной гласности цветы».*

В. П. Буренин
«Дифирамб»

Эпоха реформ 1850—1860-х годов началась с того, что в стране начало просыпаться общественное мнение. Поверив, что правительство Александра II способно противодействовать диктату бюрократического аппарата — пресловутых николаевских «столоначальников», — в Петербург повалили ходоки, требуя в первую очередь свободы печати. Адреса с такими требованиями сыпались на царский двор как из рога изобилия. «Переоценка и перестройка всего нашего прошлого — вот содержание этого периода государственной и еще более — общественной русской жизни. В ряду подлежащих такой переоценке и перестройке учреждений едва ли не впереди многих других, если не всех, стояла, конечно, цензура», — писал об этом в 1904 году исследователь истории русской общественной жизни М. Лемке (1, VII). Первое условие, которое выдвинуло общество как основу всех остальных реформ, — требование гласности и свободы слова. На этом новом для всех открытом языке дискуссий произносилось осуждение прошлого, переход от простого «чего нам не надо» — к тому, что сложнее: «что нам надо». Для того чтобы хотеть изменений, нужно отнестись критически к тому, что есть сегодня. Ограничение в мере этого критического отношения — ограничение возможности будущих реформ. Это хорошо понимали передовые люди эпохи, и «перестройка» начала 1860-х годов, вполне естественно, вышла на свой главный вопрос: о необходимости закона, регулирующего отношения между литературой, правительством и обществом.

И здесь выяснилась удивительная вещь: те же самые люди, которые раньше запрещали, стали вдруг разрешать. Вот как описывал ситуацию М. А. Корф, один из столпов государственной власти, с 1855 года председатель Комитета для надзора за книгопечатанием, в 1856 году не в силах справиться с порученным делом, подавший ходатайство о прекращении деятельности Комитета:

«Еще недавно надзор цензурный... не оставлял ничего желать... Были создаваемы даже особые учреждения собственно с целью исправлять общественное мнение. Но все усилия в окончательном результате приводили к последствиям, прямо противным желаемому... Оказалось, что когда в обществе возникает истинная потребность свободно высказываться, правительству делается невозможным противодействовать сему, потребность эта обращается в неудержимую силу, от которой не спасется и официальный круг, ибо он дышит одним воздухом со всеми...» (3, 59)*.

Далее М. А. Корф констатировал, что Управление цензуры не успевало снабжать цензоров инструкциями по всем случаям, разнообразие которых росло с увеличением гласности. Бумажная лавина инструкций не успевала перекрыть еще более мощный вал разнообразных материалов, ранее «непроходных». Гласность набирала силу, как река, которую возманился остановить щедринский градоначальник, и сметала все, что в нее бросали, дабы остановить ее течение. Попытка «запрещать» в старом стиле разжигала пафос борьбы, и количество «острых» материалов еще более увеличивалось.

Все большее и большее число людей склонялось к мнению, что творческий труд никак не может быть опасен: он или полезен, или бесполезен для людей. Вместе с тем только свободный труд оказывается производительным. Следовательно: только свободный от административной опеки труд писателя, художника может стать полезным для общества. Как отмечал в эти годы Ф. М. Достоевский в статье «Г.-бов и вопрос об искусстве», любая форма несвободного умственного труда невыгодна для общества. Вся история принятия цензурной реформы 1865 года — история того, как эта мысль, очевидная для русских интеллигентов, медленно и туго внедрялась в сознание администраторов всех уровней: от рядового чиновника до министра. Создавались сотни, тысячи произведений в самых различных жанрах, главную мысль можно было определить так: добро может быть совершено только усилием доброй (то есть свободной) воли творящего человека. Доказывалось, что на протяжении всей истории человечества нет ни одного случая, когда

* Здесь и далее: первая цифра обозначает порядковый номер по списку литературы (см. стр. 46), вторая — страницу издания.

с помощью насилия и зла было сделано нечто доброе и полезное (а попыток такого рода предпринималось много).

Запретительно-удушающая идеологическая цензура этого периода, конечно, ни в каком виде не могла принести обществу никакой пользы. Однако парадокс в том, что исключительно полезной в этих условиях могла быть деятельность отдельных цензоров. Это, например, И. А. Гончаров, или Ф. И. Тютчев, или тот безвестный цензор, который на свой страх и риск пропускал иногда хорошую книгу, рискуя карьерой или даже свободой, к которому обращено пушкинское «Послание цензору». Это те чиновники, которые сознательно сводили к нулю смысл порученной им работы: занимая должность, они «пропускали все или почти все». Здесь цензура самоотменялась на отдельных должностях, подобно тому как отменялось крепостное право во владениях декабристов задолго до крестьянской реформы 1861 года. Иногда же кроваво-пролитная и, как правило, безнадежная борьба литературы с цензурой напоминала ситуацию из рассказа Леонида Андреева «Стена». Цензоры в эти годы жаловались, что прогрессивная журналистика берет их измором, заваливая горами статей, которые «ни в каком случае не могут появиться на свет» (4, 14—15).

Логика административного управления при возникновении проблемы требовала тут же учредить канцелярию, призванную взять эту проблему под свой контроль. Дыра в общественно-государственном механизме латалась соответствующим министерством. Российская государственная машина напоминала лоскутное одеяло myriad ведомств, часто не просто соприкасающихся друг с другом, но и дублировавших друг друга (если одно из них «не справлялось»). В начале «гласности» правления Александра II при ощущении провала в политике «запретительства мысли» было организовано особое министерство цензуры (Главное управление по делам книгопечатания), требовавшее своего развития и процветания. Ф. М. Достоевский в юности задумал «Повесть об уничтоженных канцеляриях», где намеревался изобразить ужас российского чиновничества при мысли о том, что закрылась какая-то канцелярия, и это воспринималось бы ими как признак гибели цивилизации. Ибо канцелярии, подобно Новому Свету, могут только открываться, закрываться же они не могут.

В этом страхе чиновничества перед «новыми временами» — корни их «либерализма» в эпоху «великих реформ» 1860-х годов. Еще до принятия всех указов и самого цензурного устава 1865 года цензоры стали более либеральными. Причем, что характерно, вначале это коснулось газет, издаваемых Россией для Европы, — «Independance Belge», «Nord», — затем московских и петербургских изданий и лишь в последнюю очередь — провинциальных печатных органов. Волна либерализма шла тем же путем, что и административное влияние на общество, — от

центра к периферии. Но главной причиной его было все более настойчивое требование времени. Освобождение русской литературы в 1860-е годы началось с протеста самих литераторов.

2. ПИСЬМО РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В МВД

«Два писателя ведут разговор.

— Есть один пункт, где сходятся все писатели, несмотря на различие своих убеждений.

— Где же это?

— В цензурном комитете».

«Искра», 1863, № 12.

В Москву из Петербурга приехала делегация журналистов во главе с Н. Г. Чернышевским. На основании представленного ими проекта москвичами, во главе с М. Н. Катковым, была составлена петиция, выражающая мнение русской журналистики по вопросу об отношении правительства к словесности. В 1861 году это «письмо» было подано Н. А. Валуеву, министру внутренних дел. Письмо было подписано редакторами журналов «Современник», «Отечественные записки», «Время», «Московские ведомости», «Наше время», «Век», «Русский вестник», «Русское слово» и др., редакторами которых были соответственно: Н. Г. Чернышевский, А. А. Краевский, М. М. Достоевский, В. Ф. Корш, Н. Ф. Павлов, Г. В. Елисеев, М. Н. Катков, Г. Е. Благосветлов. Это было первое в истории России коллективное обращение русских литераторов к правительству; забыв внутренние разногласия, писатели выступили единым фронтом против лишения их возможности быть свободным голосом общественного мнения.

Вот о чем писали они в своем обращении:

«Литература, без всякого сомнения, принадлежит к самым существенным потребностям образованного общества, и оно не может оставаться равнодушным к вопросу о положении печати...» Описывая в ярких красках это «положение печати», авторы делают вывод: «Если есть страна, где свобода печати может быть допущена с полной безопасностью, то страна эта есть по преимуществу наше отечество...» Что же является главным препятствием к этому, в чем коренится главное зло? По мнению авторов «Письма», в ответственности за крамолу. В настоящее время, указывают они, эта ответственность делится между автором, редактором и цензором — теми, кто написал, издал и допустил. Эта коллективная ответственность, как и всегда в подобных случаях, рожда-

ет личную безответственность. Неправедливо, если кара постигает автора, когда цензор разрешил его произведение. Оценки редактора достаточно, и его, как и автора, всегда можно привлечь к ответу, если они виновны в нарушении закона. Отсюда делается вывод: существование предварительной цензуры «совершенно излишне», «обременительно для журнала», «вредно для целей правительства» и «совершенно бесполезно во всех других отношениях».

Логика авторов «письма» развивается следующим образом: во всем мире редактор сосредоточен на том, чтобы сделать журнал как можно лучше и интереснее; у нас его силы употребляются на «самый неблагодарный и самый непроизводительный труд — на сношения с цензурой». При этом, вопреки здравому смыслу, нужно нести в цензуру статью о правилах арифметических действий. Печать в этих условиях действует медленнее, возникают лишние звенья на ее пути к читателю. Кроме того, многое становится в зависимость от вкусов одного человека, а эти вкусы не всегда безупречны. Вычеркивания цензора — мучения для автора, тем более — для редактора. Цензура поглощает много средств, необходимых для более насущных целей. Кроме того, сами цензоры — это те же литераторы, которые могли бы приносить ощутимую пользу стране своим трудом, работать журналистами и писателями, а они вынуждены смотреть на литературу сквозь прорезь прицела. Существование предварительной цензуры, считают авторы, кроме того, «источник того прискорбного антагонизма, который развивается у нас между правительством и мыслящей частью общества». Цензура в ее теперешнем виде воспитывает людей, отвечающих за чужое дело, и убивает ответственность автора и редактора. «Нет ничего справедливее и естественнее, как отвечать за себя и свое дело, и нет ничего затруднительнее во всех отношениях, как ответственность за чужое дело. Цензура — образец кошмара ответственности за чужое дело, которое сделалось в нашей стране профессией тысяч людей», — пишут авторы «письма». Положение дел, по их мнению, шельмует профессию редактора, поощряя лакейский тип «Чего изволите?»; цензур много, и они дублируют друг друга.

Во второй части письма содержится положительная программа будущего устава о печати. Предложения русских писателей сводятся к следующему:

- уничтожить цензуру, сосредоточив бремя ответственности на редакторе. Так как журнал — общественное учреждение, то гласность сама станет цензурой и все антиобщественное будет обществом же и осуждено — в том же журнале или в других печатных органах;

- уничтожить ответственность за «вредное направление», так как журнал — выразитель общественного мнения и никакое лицо не может нести ответственность за все общественное мнение в целом;

- оставить цензуру, если ее нельзя отменить, но пусть цензуре под-

лежит уже напечатанное, и редактора, и автора привлекают к ответственности, если это необходимо, на общих основаниях существующего законодательства. Нести же каждый день на предварительную цензуру свои материалы, считают авторы «письма», все равно, как если бы каждый гражданин общества утром докладывал прокурору о своих планах на день и получал разрешение их осуществить.

Итак, подобно щедринскому мужику из «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», русская литература сама протягивает правительству плетку со словами: наказывайте, но только не до, а после проступка. В письме содержится мысль, что если человека избить до полусмерти, то вряд ли в этот день он совершит какое-либо преступление. Но годится ли этот способ для созидания «благонамеренности» русских печатных органов? Писатели предлагают правительству целый список возможных наказаний провинившимся авторам и журналам: журнал может снова перейти под предварительную цензуру, платить штраф, уволить редактора, закрыть отдел, запрещать печатать определенного автора, статьи на определенные темы и пр. и пр. Но главное: отмените предварительную цензуру. И самый главный аргумент: наш ужас перед предварительной цензурой настолько велик, говорят авторы «письма», что сама мысль о том, что, опубликовав недозволенное, можно снова оказаться под ней, настолько сильный стимул, что никто ничего лишнего не напечатает.

Каковы возможные возражения на это? Писатели сами моделируют их и отвечают по порядку. Например, кто-то, пожертвовав своим журналом, личной свободой, издаст статью, «где самым дерзким образом будут нарушены основные законы о печати». Ответ:

1. Преступления неизбежны, они оборотная сторона свободы. Нельзя запретить продажу топоров с целью борьбы против убийств топорами. Стеснение, напротив, развивает антиобщественные инстинкты. «Печать — один из видов общежития, и в ней все то, что в остальных частях общества», — утверждают авторы.

2. Если кто-то захочет распространить что-то антиобщественное, то это можно сделать и помимо подцензурной печати.

3. Редактор, замечают авторы «письма», дорожит своим положением отнюдь не меньше, чем цензор. На каком основании мы считаем, что один должен контролировать другого?

4. Такого рода контроль над печатью рождает в обществе странную мысль, что пишущие люди особого сорта, это социально опасные люди, за ними нужен глаз да глаз. Эта идея, лежащая в основании существования цензуры, унизила для цивилизованного общества, предполагая страх перед «более умным»: «Печать не есть принадлежность какого-либо класса людей, какой-нибудь клики: в печати могут высказываться

и высказываются мнения лиц, принадлежащих к различным общественным срезам...» Поэтому: «В интересе Верховной Власти, в интересе страны следует не стеснять печать в этом отношении, а, напротив, давать ей всевозможные льготы, пока она остается в пределах, обозначенных самим правительством».

5. Возможность злоупотреблений со стороны цензоров. Даже если нет прямого нарушения закона, то налицо следующие минусы:

— принимая на себя ответственность за мнение частного лица, государство неправо, так как это мнение может быть неверным;

— не допуская материал к печати, государство берет на себя еще более тяжкий грех, навлекая на себя подозрение со стороны общества (опять-таки неважно, право оно или неправо, отвергая статью);

6. Личные отношения цензора к тому или иному редактору или автору играют отрицательную роль в объективности цензора. Авторы «письма» приводят конкретный пример, как была искажена статья по экономике цензором, состоявшим в личной дружбе с чиновником, подвергавшимся критике.

7. Потеря международного престижа — такого рода отношение правительства к своей печати рождает недоверие к стране, где такое отношение существует.

8. Цензура не имеет никаких юридических оснований ни в пределах международного права, ни в пределах собственно русских законов; так же по российским законам нет оснований для отождествления мнения одного гражданина и правительства в целом. Существование предварительной цензуры идет вразрез с положением о свободе совести; «ибо существование предупредительной цензуры препятствует верить, чтобы правительство воздерживалось от вмешательства в частные суждения и мнения», — деликатно намекают авторы «письма».

9. Существование предварительной цензуры вообще делает невозможной какую-либо критику злоупотреблений администрации. Авторы «письма» приводят пример, как почтовое ведомство пригласило печатать материалы, указывающие на недостатки в его работе. Правительство одобрило инициативу; появился ряд статей, остро критикующих ведомство. Тогда почтовый департамент потребовал на свою собственную цензуру все материалы, касающиеся его работы; причем советовал оформлять их в виде «жалоб» и «предложений», обещая по ним «принять меры». Авторы «письма» с сарказмом замечают: лучше бы авторы присылали в министерство отдельные оттиски напечатанных статей... Точка зрения отдельного человека гложет в канцелярии, печатно высказанная — становится общим достоянием. Поэтому жизнедеятельность страны и общества зависит от состояния печати, а ее состояние — главный признак всего состояния страны в целом.

10. Цензура, наконец, по мнению авторов, подрывает доверие к правительству, которое ее допускает. «Многие думают, что если бесчисленное множество злоупотреблений и неправильных действий ускользает от печатной гласности, то они остаются погребенными во мраке неизвестности и не производят последствий. К сожалению, все это известно, все это циркулирует в обществе с неизбежными преувеличениями, все это дискредитирует лица, призванные быть исполнителями правительственных целей, все это, к сожалению, приучает общество смотреть легкомысленно на самое правительство, и все это, конечно, не может оставаться без последствий гораздо более вредных, чем самые заносчивые журнальные статьи» (1, 80).

Главный вывод — по возможности сократить администрирование в сфере печати: «если печать наша должна еще оставаться под административной расправой, то было бы по крайней мере желательно, чтобы Главное управление цензуры приняло в некоторой степени характер судебный... чтобы не объявлять обвиняемого виновным, не заслушав его...»

Еще один важный пункт вызывает необходимость в упоминании: «Весьма нередко какое-либо сочинение навлекает на себя неудовольствие правительственных лиц за несколько мест, вырванных из связи, представленных на вид какими-нибудь недоброжелательными оценщиками...» — способ, с помощью которого царские вельможи не раз расправлялись с журналистами, задевавшими их персоны. Голос общественного мнения? Русские писатели настойчиво добиваются того, чтобы их голос в правительственных учреждениях слушали так же внимательно и серьезно, как в любом доме, где выписываются журналы.

И, наконец, последнее: нельзя в сфере гласности прибегать к умолчанию того, на чем сама гласность основана. «Как требовать от пишущих чистосердечия и законности, — подчеркивают авторы «письма», — если они не видят его со стороны представительной власти и когда само правительство действует против литературы как против враждебного лагеря. Цензура есть у нас всем известное учреждение... но тем не менее принимаются все меры скрыть существование цензуры и запрещается всякий намек на ее присутствие в деле печати. Нельзя сказать, что статья не напечатана только потому, что это может быть принято за признак цензуры... Всякий поневоле приходит к заключению, что правительство как бы стыдится само своих распоряжений, само не доверяет своему праву и даже своей силе и прибегает к хитрости, ничем не объяснимой и совершенно напрасной». Сам вопрос о цензуре, о печати, по мнению авторов, необходимо вывести в область гласности, ликвидировав этот парадокс, оставленный николаевским царствованием (1, 59—82).

Это замечательное письмо русских писателей было передано на рассмотрение чиновнику МВД — «коллегскому асессору Фуксу», к доклад-

ной «Записке о цензуре» которого оно и было подшито. В правительственных кругах воцарилось некое мрачное ожидание и растерянность. Привыкшие к «коллективной ответственности» чиновники николаевского бюрократического аппарата ждали «инструкций». Тем временем литераторы, подписавшие письмо, пользуясь тем, что цензура чуть-чуть ослабила воротничок своей смирительной рубашки, торопились печатно высказать все это — и еще многое другое — по наболевшей проблеме, вопросу о положении печати в России.

Министр внутренних дел П. А. Валуев, вопреки самой идее своего министерства, был более всего озабочен тем, как выглядит Россия не изнутри, а снаружи. В Европе тем временем было организовано телеграфное агентство «Рейтер». Валуев подает царю записку о том, что России необходимо срочно вступить в «Рейтер» на правительственном уровне, чтобы корреспондентами агентства стали его собственные агенты: это, по его мнению, предотвратит утечку нежелательной информации через частные каналы. Работая бесплатно, он избежит конкуренции со стороны частных журналистов. Он предлагает, чтобы все ведомства России составляли список «новостей», МВД будет передавать это за границу... И здесь сказалась инерция николаевского стиля мышления: министр внутренних дел занимался в этот момент не столько внутренними вопросами, сколько подкраской изрядно облупившегося фасада Российской империи. Но на «письмо» русских литераторов Главное цензурное управление ответило своим циркуляром, за подписью чиновников департамента.

3. О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ ЦЕНЗУРЫ. ОТВЕТ МВД

*«— Я всегда стоял за идею и буду стоять.
— Стоять-то немудрено, а ты вот посиди».*

«Гудок», 1862, № 32.

В этом «ответе» на обращение русских журналов видны одновременно: констатация «изменившихся времен» и вместе с тем страх, растерянность и недоумение. Почва, на которой стояла власть «ста тысяч столоначальников» — тупое безгласие общественного мнения и всего народа в целом — заколебалась под ногами. Это здоровое движение пробудившегося от спячки общества воспринималось как колебание устоев; называние вещей своими именами и гласно — как оскорбительные выпады против «авторитетов». Самое интересное в этом циркуляре — оценка прессы как главной опоры тех реформ правительства, которые подрывают корни административной системы. «Публицисты уже не боятся явно

выражать свое сочувствие либеральным правительственным реформам», — с огорчением замечают составители этого документа и формулируют два главных греха современной журналистики: «...падшие правительства предаются поруганию, начала представительного правления восхваляются...»

Особенно неприятно для сотрудников МВД то, что журналистика ставит вопросы, которые раньше никто, кроме членов правительства, не смел даже обсуждать: «Некоторые журналы наполняются исключительно такими статьями, в которых под многообразными внешними формами произведений разбираются вопросы из жизни современного общества во всех возможных сферах и положениях... Журналистика взялась за роль верховного судьи, произносила диктаторским тоном приговоры по таким предметам и над такими лицами, которые нисколько не подлежали литературной критике; прикасались дерзкою рукою к авторитетам религии, церкви, верховной власти, правительства, судебных учреждений и других властей... оскорбляла лица, пользующиеся заслуженным уважением...» (4; 5—7, 11).

Подобно водоросли, особенно хорошо размножающейся в стоячей воде, бюрократ люто ненавидит каждого, кто заставляет его стронуться с насиженного места, принимать какие-то решения, просто думать и вообще совершать какие-то усилия. Здесь, а не только лишь в сфере идеологического противоборства коренится ненависть бюрократа к еретикам, диссидентам, ко всем, кто мешает сонному оцепенению безгласной страны. И западники, и идейно противоположные им славянофилы подвергались одинаково жестоким преследованиям со стороны николаевского III отделения. Реакция бюрократа на попытки что-то изменить однозначна — последовательная и твердая защита всего, что уже есть, независимо ни от чего.

Вот какова логика «циркуляра» в защите цензуры, игнорируя все доводы «Письма писателей»: предупредительная цензура — это очень хорошо. Потому что хорошее произведение будет напечатано, а плохое — нет. Кроме того, такая цензура благотворно воздействует на художественный уровень произведений, так как роман с недостатками будет исправлен цензором, станет много лучше, — и эта работа проводится совершенно бесплатно! Цензура, по мнению авторов «циркуляра», — это субсидируемое правительством общество по улучшению русской литературы: «наша система представляет еще и ту выгоду.., что сочинение благонамеренное и полезное в общем составе.., но заключающее в себе несколько неодобрительных мест или выражений, по исправлении его согласно с указаниями цензуры может быть издано без всякого ущерба для сочинителя или издателя, тогда как во всех других государствах подобное сочинение погибло бы и с убытком для его собственника» (4, 16—27).

Комментируя главную часть «письма литераторов» — возмущение произволом цензоров — авторы «циркуляра» отвечают довольно откро-

венно, называя произвол главным методом управления, органически свойственным российским традициям. «Называть такие распоряжения произволом или самоуправством, — пишут они, — ...значит не понимать свойства нашего правительственного организма. Общественный порядок и благоустройство поддерживаются не одними законами, но и администрацией...» Утвердив таким образом беззаконие как норму общественной жизни, авторы делают совершенно естественный для них вывод о недопустимости *гласности* там, где нет *законности*: «Литература наша... подлежит надзору и управлению администрацией. Нигде свобода печатного слова, особенно при настоящих обстоятельствах, не может сделать-ся более опасною, чем в России» (I, 104).

Ясно, что чиновники и писатели здесь разговаривают на разных языках. Первые говорят: вам многое уже позволили, а завтра позволим еще больше, если вы, конечно, не будете «злоупотреблять». Другие говорят: сделайте так, чтобы вообще не нужно было позволений, дайте возможность самим отвечать за свои слова, и лучше однажды сесть в тюрьму за свое слово, чем находиться под постоянным домашним арестом. А цензоры отвечают: «Никогда литераторы не пользовались в России большей свободой, как ныне, и при всем том они не изъявляли большего неудовольствия на цензуру и не простирали так далеко своих требований, как в настоящее время. Очевидно, что они домогаются неограниченной свободы печати, не стесняемой никакими правилами цензуры» (I, 105). Надо отдать должное авторам циркуляра: вывод был ими сделан точный. Названо главное: чиновники стоят за более или менее ограниченную *гласность*, литераторы требуют твердых юридических гарантий *свободы слова*.

Что же может предложить современному обществу цензура? Подчиняясь веяниям времени, она должна стать: «бдительная, благоразумная, предупредительная, очищенная от излишних формальностей, но сближенная с системой карательной (то есть цензурной проверкой уже опубликованного материала. — К. Б.), через введение в нее, в известной мере, элемента законности» (I, 105). Чуть не задохнувшись от собственной смелости, бюрократический аппарат предлагает в той традиционной смеси законного и противозаконного, которую он определил как норму существования России, «в известной мере» (кому известной?) увеличить долю «законности». На требование покончить с беззаконием, которое выдвинули русские журналисты, бюрократы предлагают «альтернативное» решение: вводить в страну законность, как сильнодействующее, но очень токсичное лекарство, маленькими, гомеопатическими дозами.

Интересно, что чиновникам, составлявшим циркуляр, не откажешь в честности, — они болеют за порученное им дело и искренне страдают от того двусмысленного положения, в которое поставило их существование предупредительного принципа цензуры. Они пишут: «Предупредительный принцип цензуры... носит в себе все те же неизлечимые недостатки, которые характеризуют совмещение в одних и тех же лицах

и учреждениях два совершенно противоположных элемента: администрацию и суд» (I, 106). Итак, критика предупредительной цензуры (это исторический момент в истории России XIX века!) прозвучала из недр самой цензуры.

Неудивительно, что в январе следующего, 1862, года произошло еще одно важнейшее событие: министр народного просвещения А. В. Головнин, в ведении которого находилось Главное цензурное управление, обратился к редакциям российских журналов и газет с предложением высказаться о реформе устава о печати — необходимость реформы, как мы видим, признали к этому моменту обе стороны. Это был первый вопрос такого рода, обращенный к литературе со стороны правительства (раньше, в лучшем случае, интересовались мнением отдельных писателей, более или менее близких ко двору, например, Н. М. Карамзина или В. А. Жуковского). Вопрос был поставлен так: менять сложившийся порядок необходимо, но в каком направлении?

Русская литература, не избалованная такого рода благосклонным вниманием к ее нуждам, не заставила себя долго упрашивать. Москвичи реагировали на предложение министра отдельными статьями в своих журналах (они уже высказались по вопросу в «письме литераторов»); петербургские писатели сочли необходимым провести три специальных заседания для обсуждения ситуации. В результате из многочисленных откликов различных лиц, журналистов, писателей, редакторов и цензоров была составлена и оперативно издана удивительная книга, с названием: «Мнения разных лиц о преобразовании цензуры».

4. ПОХОЖИЕ «МНЕНИЯ РАЗНЫХ ЛИЦ». ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА

*«Угрюмый сторож муз, гонитель
давний мой,
Сегодня рассуждать задумал я с то-
бой.
Не бойся: не хочу, прельщенный мы-
слью ложной,
Цензуру поносить хулой неосторож-
ной;
Что нужно Лондону, то рано для
Москвы...»*

*А. С. Пушкин
«Послание цензуре»*

Ровно половина объема книги — статьи литераторов, другая половина — мнения официальных лиц, чиновников и цензоров. Книга зафиксировала процесс разрушения уверенности в полезности предупредитель-

ной цензуры. Все семь цензоров, чьи «мнения» приведены в книге, высказали много сильных и хорошо аргументированных суждений за пересмотр сложившейся системы. В общем и целом они высказались за:

- упразднение специальных цензур,
- ответственность только автора и редактора за то, что напечатано без цензуры,
- отмену всякой цензуры для переизданий,
- предание гласности (опубликованию) всех существующих документов и распоряжений всех цензурных ведомств. По-видимому, такова была позиция министерства, которое они представляли

Очень интересная оценка действенности цензуры для различных слоев читателей содержится в статье цензора Веселаго. По его мнению, русская публика образует три группы:

1. «Серьезно образованные» люди, свободно читающие на иностранных языках.
2. «Имеющие отрывочные знания» и сведения о многом, но рассуждающие с оглядкой на мнение других и опирающиеся на отрывочное и несистематическое чтение.
3. «Купечество и грамотное простонародье» — ждущие от чтения исключительно только приятного развлечения.

Для первых, комментирует свою теорию цензор, всякая цензура бессильна. Для третьих — может принести существенную пользу. Что же касается «несочувствия правительству» второй группы читателей, то это полностью на совести цензуры, и борьба за эту часть публики должна составлять главное направление цензурного ведомства, считает он. Начиная с разговора о тех рамках, в которых должна быть заключена гласность, цензоры естественно переходили к разговору о читателе, демонстрируя глубокое знание предмета, а также и свою нравственную позицию — рачительной няньки при играющем с огнем ребенке-обществе (2, 21).

Цензор Оберт, в свою очередь, жалуется, что статью 3-ю цензурного устава, запрещающую высказываться против существующей власти, невозможно логически истолковать: ни одно лицо, когда-либо служившее (или тем более служащее) в государственном аппарате, никем, ни за что и ни в каком случае не может критиковаться. Сопровождая свои рассуждения примерами, когда явный преступник и лихоимец был защищен своей высокой должностью, цензор сочувствует своим коллегам, постоянно испытывающим муки совести, когда они не могут пропустить вполне справедливый фельетон.

Ответ литераторов в «Мнениях разных лиц...» также можно считать

одним голосом. А. А. Краевский, С. С. Дудышкин («Отечественные записки»), Г. Е. Благодетель («Русское слово»), Ф. М. и М. М. Достоевские («Время»), И. В. Вернадский («Экономист»), Н. Г. Писаревский («Русский инвалид»), В. Р. Зотов («Иллюстрированный листок»), П. С. Усов («Северная пчела») и другие редакторы крупнейших русских изданий (включая и «Современник», приславший анонимную статью) высказались в следующем духе:

1. Цензурных правил столько, что если их все точно исполнять, то не было бы возможно напечатать ни строчки. Цензура работает фактически не благодаря своим инструкциям, а всегда вопреки им.

2. Попытка угадать крамолу, практикующаяся предварительной цензурой, равносильна запрету на мысль

3. Сложившаяся цензурная практика падает самым тяжким грузом именно на самых честных, талантливых и самобытных людей, тех, кто создает свои творения не «применительно к подлости», а по велению свободной творческой воли; за это общество им жестоко мстит.

4. Существующая цензурная практика несет в себе антиобщественную идею, утверждая пропасть, отделяющую частное лицо от правительства.

5. Кроме того, страдают и те добросовестные и честные люди, которые служат в цензурном управлении: «Должность цензора есть едва ли не единственная во всей Российской империи, в которой усердный и исполнительный чиновник беспрестанно получает замечания и выговоры. Она почти неудобоисполнима...» (1, 115).

6. Развращает русскую журналистику, развивая «лакейство мысли»: «Известно, что стоило какому-нибудь министру или другому более или менее важному официальному лицу прислать к министру народного просвещения бумагу с претензией на известную статью или хотя на словах выразить ему свое неудовольство ею, министр народного просвещения без всякого разбора удовлетворяет претензию выговорами, угрозами обвиняемому автору...» (2, 91).

Отдавая себе отчет в том, что появилась небывалая возможность прямо обратиться к кабинету министров и царю (именно им адресовалось издание), писатели поспешили сказать самое главное. Главное: ответить на рассуждения бюрократов о якобы вредном влиянии гласности и свободного слова на общество. Они обращаются к «власть имущим» спокойным, уверенным слогом: «призывая на помощь себе литературное мнение, правительство встречало в нем полное сочувствие своим добрым целям... без литературной гласности оно не могло бы ни ослабить злоупотребления прежней эпохи, ни обсудить и совершить те реформы, которые так спокойно совершились... С другой стороны, всякий

раз, когда правительство стесняло литературное мнение, в обществе рождались сомнения, неудовольствия и едва закрытые язвы вновь открывались...» (1, 117). И более решительно: «Мы убеждены, что не призрак свободной мысли должен пугать наше правительство, а действительное отсутствие знаний и гласности на таком огромном пространстве земли, как Россия; не литература опасна, а невежество и соединенная с ним глухая оппозиция еще более глухому угнетению. Мы не знаем в истории человечества ни одной революции, которая была бы вызвана свободой печати, но мы знаем много таких революций, накануне которых стеснение прессы вызывало всеобщие жалобы...» (1, 117).

В чем авторы статьи, опубликованной во «Мнениях разных лиц...» видят ущербность современной русской цензуры? Она существенно ограничивает канал связи общественности с правительством и народом — исчезает нормальное «двустороннее движение», и общение это превращается в улицу с односторонним движением по пути «сверху вниз». Современная же цензура, «заграждая естественные исходы умственной деятельности... не в силах остановить это развитие, но заставляет общественную мысль искать тайного распространения; сдвленная внутри, она перейдет в заграничную пропаганду и подземную рукописную литературу» (1, 118). Записка редакции «Современника» добавляет: «нельзя найти четырех, даже трех замечательных в литературе людей, которые сходились бы между собою в теоретическом взгляде — если наберется в русской литературе полсотни серьезных писателей, то они распадутся по крайней мере на тридцать отделов по образу мысли» (1, 119). Что такое крамола, хорошо знает аппарат подавления, но очень редко осознают как крамолу или «антиобщественные идеи» те, кто их публикует или высказывает. Отсюда противоречие, что честно и искренне высказанный взгляд воспринимают как враждебное выступление те, кто настороженно ищет это. Превращение литературы в некую оппозиционную партию, заключает «Современник», по меньшей мере нелогично.

Литераторы выдвигают предложение: избрать специальный цензурно-следственный комитет, привлекающий на общих основаниях авторов и редакторов статей, содержащих клевету или вымысел, с правом юридической защиты*. В него должны входить — на равных условиях и пополам — правительственные чиновники и представители редакций. Если этот комитет будет непосредственно подчинен административной власти, подчеркивают писатели, он будет вреден. Заседания этого комитета должны быть публичны, стенограммы печататься. Так, в связи с новым законом о печати возник вопрос о судебной реформе, своего рода усло-

* Похожий комитет сегодня действует во Франции — (К. Б.).

вии правильного функционирования литературы в обществе. Правовое государство, считают литераторы, невозможно без гласности; гласность и свобода печати превращаются в ничто, если они не стоят на твердом фундаменте закона.

Эта мысль встречается в книге не раз, особенно конкретно поставлен этот вопрос в «Записке отдельных литераторов»: «теория и практика, наука и жизнь доказывали и доказывают, что всякое запрещение известных мнений не только бесполезно, но положительно вредно. Вредно потому, что задерживает развитие просвещения; бесполезно потому, что не искореняет все-таки тех мнений, на которые падает. Из простых сторонников известного образа мыслей, готовых выслушивать всякое свободно высказанное возражение, оно образует фанатиков, идущих на плаху... Но многие правительства смотрят иначе и невольно рождается вопрос: в какой форме полезнее само по себе вредное учреждение? ...Основательное и справедливое изменение в положении литературы невозможно без изменения *всего характера нашего законодательства и наших учреждений*. (Выделено мной.—К. Б.) Результат этот очень неутешителен, но мы считаем себя обязанными прямо и без самообольщения заявить о нем...» (2, 74—78).

«Мнения разных лиц...» возымели свое действие. 10 марта 1862 года, проанализировав ситуацию, совет министров принял указ Сенату об отмене специальных цензур, упразднении Главного управления цензуры, о надзоре за периодическими изданиями (их было 162 в 1862 году) шестью чиновниками по особым поручениям МВД. Все остальные издания предлагалось рассматривать на цензурном совете, если на них поступали жалобы от частных лиц или учреждений. На основании этого указа были приняты так называемые «Временные правила» от 12 мая 1862 года (опубликованы 14 июня). 13 пунктов «правил» фиксируют идеи «указа» совета министров и носят характер существенного смягчения цензуры.

Таков был конец цензурных правил, по которым жила русская литература с 1828 по 1862 год. Этот факт специально отмечен в последнем, XIII пункте.

Специальная комиссия под председательством князя Д. А. Оболенского приступила к выработке проекта нового «закона о книгопечатании»; комиссия, в духе открытости и гласности, предложила русским печатным органам издавать статьи, могущие помочь ей в этом деле. «Желательно, — писал в «Санкт-Петербургских ведомостях» глава нового комитета, — ...чтоб литература наша несколько ближе знакомила публику с вопросами, до законодательства о печати относящимися. Сравнительное изложение законодательств других образованных государств и теоретическая оценка их могли бы приготовить общественное мнение к правильному развитию силы и значения новой системы законодательства о книгопечатании» (1, 194). Правда, половина из написанных в этом году статей о цензуре цензурой не была пропущена к печати.

5. ПРИЗЫВ КНЯЗЯ Д. А. ОБОЛЕНСКОГО

*«Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать,
И в рабстве ползали и люди, и печать?»*

А. С. Пушкин
«Послание цензору»

Крупнейший русский философ и писатель, один из лидеров славянофильского движения, И. С. Аксаков в редактируемой им газете «День» писал: «Распространяться о пользе свободного слова и о вреде цензуры мы считаем излишним. Благодарение Богу — наше общество убеждать в этом нечего!.. Стеснение в печати губительно для самого государства, и государство, в видах собственного сохранения, должно предоставить полнейшую свободу деятельности общественного сознания, выражающейся преимущественно в литературе. Одним словом, если государство желает жить, то должно соблюдать непрременные условия жизни, вне которых смерть и разрушение; условие жизни общества — есть свобода слова, как орудие общественного сознания. Поэтому цензура, как орудие стеснения слова, есть опасное для государства учреждение, ибо, не будучи в силах остановить деятельность мысли, сообщает ее развитию характер раздраженного противодействия и вносит в область печатного слова начало лжи и лицемерия. Мы хотим думать, что эти очевидные истины признаются официальным миром» («День», 1862, № 31).

И. С. Аксаков произвел, как мы видим здесь, некую перемену плюса и минуса: свобода слова провозглашается им как условие жизни государства; цензура, казалось бы, призванная блюсти государственные интересы, оказывается главным врагом государства.

Последовательно выступая за правовое государство, Аксаков считает несовместимыми *право* и *циркуляр*, *конституцию* и *инструкцию*. Он пишет: «...мы полагаем необходимым, чтобы каждый нес ответственность за свое слово, так же, как он несет ответственность за всякое общественное действие... преступные действия в области публичного слова должны подлежать единственно ведению (юрисдикции) тех же судебных учреждений, которым подлежат и всякие другие преступные действия...» Ясно, что без реформы суда это невозможно: «...суд над преступными действиями в пределах свободы слова немыслим без суда присяжных...» Доводя свою идею до логического завершения, он требует: в первом томе свода законов России, в первой главе, в первой статье записать:

«Свобода печатного слова есть неотъемлемое право каждого подданного Российской империи, без различия звания и состояния» («День», 1862, № 32).

В том же ключе звучали призывы и концепции других русских журналов. Братья Достоевские с сарказмом называли карательную (судебную) цензуру французского образца веревкой удавленника, отпущенной таким образом, чтобы задохнуться не сразу, а постепенно. Выступая в духе провозглашенной ими доктрины «почвенничества», основанной на примирении всех слоев и сословий общества в духе братской любви и взаимного уважения, братья Достоевские по-своему разрубали гордиев узел проблемы: «Общество не чувствует никакой потребности ни в каких законах о печати, кроме разве одного, именно о свободе печати: всякий может писать, печатать и издавать свободно все, что хочет, так как правительство, опирающееся на любовь народа и на общественное мнение, имеет основания рассчитывать в то же время на здравый смысл подданных, а потому не имеет повода опасаться ни за себя, ни за подданных» («Время», 1862, № IV, с. 297—298).

В силу ограниченности возможностей прямо говорить о наболевшем вопросе и опасаясь преследований, некоторые журналы печатали обширные статьи с критическим рассмотрением современных французских законов о печати («Современник», 1862, № 3; «Русское слово», 1862, № 3—5); английских цензурных правил («Русский вестник», 1862, № 3—50). Если «толстые» литературные журналы уповали на силу логики и исторический опыт России и других стран Европы, то сатирические издания по-своему переживали драматизм проблемы. Так, например, «Гудок» посвятил один из своих фельетонов выяснению вопроса о том, какая цензура, «предупредительная» (до публикации) или «карательная» (после публикации) более соответствует требованиям времени: «Предупредительная цензура — это намордник, сквозь который можно лаять, нюхать, лизать, но укусить — никаким образом; разве что можно настрашать; подобие же карательной цензуры всякий русский человек может видеть на медведях, которых водит ярославский мужик для увеселения публики. Кольцо, продетое в ноздрю, и подпиленные зубы — вот эмблемы карания... Которая цензура лучше, предоставляем делать вывод самому читателю, что же до нас, то, по нашему мнению — обе лучше» («Гудок», 1862, № 16).

Что касается близкой «Современнику» «Искры», то ее отзыв на вопрос о цензуре оказался подцензурным лишь тридцать лет спустя описываемых событий. Опубликованная в «Искре» ядовитая эпиграмма П. В. Шумахера «Кто она така?», в полном согласии с «мнением литераторов» распространялась в списках.

КТО ОНА ТАКА?

(в pendant к «Картинке» А. Н. Майкова)

Тятка, эвон что народу
Собралось у кабака:
Ждут каку-то все свободу,
Тятка, кто она така?
Цыц! никшни! пушай гуторют,
Наше дело — сторона;
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она!

В условиях относительной гласности общественное мнение крепло и набирало силу; обстановка сложилась так, что Александр II вызвал на прием князя Оболенского (председателя комиссии по выработке нового закона о печати) и приказал, чтобы «реформа цензурной части последовала безотлагательно, так как потребность ее с каждым днем становится ощутительнее» (9, 340). Комиссия, наконец, пришла к выводу, что переход от предварительной цензуры к судебно-карательной в России в настоящий момент невозможен из-за неготовности к этому суда.

Характерно, что одним из главных препятствий к этому переходу комиссия сочла известное русское качество — желание «пострадать за народ» и «за правду». Законодателям виделись ряды мучеников — авторов крамольных статей, подвергнутых суду. «Роль мучеников и страдальцев за истину имеет слишком много привлекательных сторон для восторженных умов, и хотя не долго, но в первое время часто будут являться добровольные мученики за свободное слово...» — считал Оболенский, по-видимому, искренний сторонник реформы. Вторая опасность, по мнению комиссии, в том, что общество не сможет при таком резком переходе от несвободы к свободе выдержать «первый диссонанс речи» (9, VII).

В обществе ходили разные слухи об успехах комиссии Оболенского. «Отечественные записки» отзывались на это так: «Что бы ни говорили ходячие слухи, мы не хотим верить, чтоб правительство умышленно уничтожало одной рукой применение всех тех благ, которые другой рукой так щедро раздает на бумаге. Тут, вероятно, всему причиною старые предрассудки, рутина, недоверие к общественным силам или просто излишнее усердие отдельных агентов преследовательной власти. Как бы то ни было, но мы надеемся, что цензура не воспрепятствует этим откровенным и доброжелательным строкам нашим дойти по назначению. Она поймет, вероятно, что скрывать от правительства опасения, разделяемые большинством общества, было бы самой плохой услугою с ее стороны. Лучше же ей иметь теперь дело с нашими скромно выраженными мыслями, чем остаться потом вовсе без дела, когда русская литерату-

ра переселится за пределы Европейской и Азиатской России...» (Современная хроника России. — «Отечественные записки», 1862, № 9, с. 34). Наконец комиссия в атмосфере всеобщего напряженного ожидания завершила работу, представив министру народного просвещения А. В. Головнину проект нового закона о печати.

6. ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПЕЧАТИ И ЕГО КРИТИКА

*«Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси
Благодаря тебя, не видим книг доселе?»*

*А. С. Пушкин
«Послание цензору»*

В конце 1862 года комиссия Оболенского выработала основу нового цензурного устава. В проекте предусматривались следующие основные пункты:

1. Предварительная цензура отменялась:
 - для всех книг объемом не менее 20 печатных листов, изданных в Москве и Петербурге,
 - для книг, издаваемых по решению или разрешению государственных учреждений.

2. Автор и редактор не несут никакой ответственности за напечатанный материал, если на нем стоит виза цензора. Правительство имеет право наложить вето и на издание, пропущенное цензурой. Весь надзор за печатью из министерства народного просвещения передается в МВД. Издания, где есть отделы внутренней и внешней политики, выдают в МВД залог от 2 до 5 тысяч рублей (в зависимости от типа издания), которые автоматически конфискуются при допущении первой ошибки политического характера. Кроме того, предусматривались три типа взыскания:

1. публичный выговор от имени министра,
2. подчинение предварительной цензуре,
3. запрещение по высочайшему повелению.

6 января 1863 года князь Оболенский представил министру народного просвещения А. В. Головнину проект устава в его окончательной редакции. Министр встретил проект благосклонно, однако неожиданный отпор новый устав получил со стороны барона А. П. Николаи, товарища (заместителя) министра. В его рецензии на проект следует отметить необычные для правительственного чиновника резкость и откровенность. Нельзя также не признать справедливости некоторых его доводов и реалистичность его позиции (несмотря на всю ее консервативность):

1. Жалобы на предупредительную цензуру исходили и исходят вовсе не от авторов толстых книг (свыше 20 печ. л.), а как раз от журналистов. Но, по проекту, освобождаются от предварительной цензуры те, кто об этом не просит (авторы книг), остаются же в прежнем положении те, кто просит это положение изменить (журналисты, публицисты).

2. Если необходимость изменения предупредительной цензуры определяется ее бессилием, то непонятно, почему это «бессилие» употребляется как раз для тех, для которых нужны наибольшая сила и эффективность сдерживания (для периодической печати).

3. Называть цензуру проявлением произвола неправильно, по мнению А. П. Николаи. Он пишет: «Не оспаривая, что всякая предупредительная цензура не может отстранить от себя известной доли произвола, нельзя не заметить, что всякая административная власть, по самому существу своему, не может освободиться от произвола лица... Между тем, нигде и ни в какой стране мира, как бы просвещена она ни была, не придумано еще средства, дабы уничтожить произвол лица...» (7, 590). Отмечая, что до недавнего прошлого от этого произвола все страдали одинаково, по новому проекту одни должны от него страдать, а другие почему-то нет — и это лишь увеличивает число несправедливостей, ибо страдать более всех будут, конечно, те, кто более всего на произвол жаловался.

4. Задача проекта — уменьшить произвол и жестокость по отношению к авторам и всей литературе в целом. Однако, по его мнению, административно-карательная цензура «несравненно более заражена произволом, нежели предупредительная цензура, ибо наказывает за вину, непредвиденную никаким положительным законом» (7, 592).

Отсюда Николаи делает вывод: в пределах одного государства не должно быть нескольких карательных систем для одной прессы, поэтому нужно оставить предупредительную цензуру, так как специальное судопроизводство для литературы — бессмыслица, поскольку сама идея права подразумевает равенство перед законом. Суд, которому не подлежат некоторые (или подлежат только некоторые) члены общества, судом, строго говоря, не является. Но этот голос, который еще три-четыре года назад говорил бы то, что думали все чиновники министерства, в этот момент прозвучал одиноко и глухо.

10 января А. В. Головин сделал на основании проекта Оболенского доклад в кабинете министров, где в присутствии царя провозгласил: «Только вследствие свободного диспута, из столкновения разнообразнейших мнений выходит с торжеством истина. Цензура как бы не доверяла тому, что истина восторжествует, оберегает то, что в данный момент считает за истину, и ставит границы свободе распространений. Министерство народного просвещения старается медленно, осторожно

отодвигать эти границы и доставлять литературе более и более просто-ра, сдерживая и запрещаая крайности...» (8, 4—5).

Из доклада Головнина ясно, что его в первую очередь страшили не факты и аргументы, показывающие, в каком страшном положении из-за беспорядочного «администрирования» оказалась страна, не сама огласка этих фактов, но — и это характерно! — свобода анализа этих фактов и неизбежные выводы, к которым придут автор статьи и читатель вместе с ним. Поэтому он ратовал за то, чтобы при относительной «свободе печати» для огласки фактов ограничивать свободу их интерпретации. По-видимому, в его представлении глубокое и вдумчивое изучение современного состояния страны было бы необдуманной «крайностью»...

Вслушав все это, царь постановил: подготовить на основе проекта Оболенского окончательный вариант закона о печати.

Писатели и журналисты наблюдали за событиями с разными чувствами и мыслями. Существовала группа скептиков, например, обозреватель «Библиотеки для чтения» Е. Ф. Зарин, которые, «с насмешкой горькою обманутого сына» мрачно наблюдали за тем страшным напряжением, которое сопровождало рождение нового устава о печати. Они были уверены, что все эти мучения обеих сторон совершенно напрасны, что родовые муки явно затянулись и что младенец родится уродом и вряд ли долго протянет. Бюрократическая машина, по их мнению, не способна родить ничего, кроме очередного бюрократического же детища; она не способна вдруг создать свободу печати. Олицетворяя собой теорию и практику беззакония, административно-карательная власть не может создать законность, подобно тому, как не может человек вынуть из-под себя ту самую землю, на которой он стоит. Эта группа журналистов, если что-то и говорила, то, ехидно и насмешливо улыбаясь, нечто вроде:

«Цензура может или быть, или не быть, она может или господствовать над литературой, или не существовать вовсе. Но существовать *немного* она не может. Коль скоро есть цензура, так цензора непременно пользуются неограниченной властью. Коль скоро эта власть ограничена какой-нибудь легальной, действительной гарантией в пользу писателя, цензуры больше нет... она становится... пятым колесом в карете. Уменьшение цензорского и вообще цензурного произвола невозможно: он может быть или полным, или сполен уничтоженным. Поэтому... старание об устройстве переходной ступени от неограниченной цензурной власти к законной свободе печати есть гигантский труд над невозможным делом...» (Зарин Е. Ф. Печатные льготы по проекту устава о книгопечатании. — Библиотека для чтения. 1863, № 2, с. 70—71).

Углубляясь в обстоятельства дела, Зарин указывал:

1. Первая комиссия Оболенского копировала французскую систему законов о печати. Поэтому впоследствии все недостатки этой системы спишут на границу; дескать, они виноваты, а не мы.

2. Комиссия неправа в том, что исходит в своей работе из представления о печати, как некой вредоносной силе. Они чувствуют себя санитарами, должными защищать подверженное болезням государство от всякой заразы. Ясно, что только поэтому уже они ничего хорошего создать не могут — в прессе они видят врага и для врага стараться не будут.

3. Комиссия, в ответ на критику недостатков, ссылается на то, что подобный же закон о печати, какой они хотят провести, уже 170 лет существует в Англии и способствует процветанию этой страны. Однако, указывает Зарин, — этот закон все те же 170 лет не соблюдается — но не в смысле его нарушения, а в том смысле, что он давно состарился и умер; никто в Англии за печатью усердно не следит и никто всерьез не думает, что этим вообще нужно заниматься. Тот же самый закон, который мы сегодня хотим выдать за последнее достижение, там уже устарел и умер до того окончательно и бесповоротно, что его даже лень отменять. Отмену этого закона парламент обходит как величественные руины когда-то грозной крепости.

Итак, в глазах русской общественности и правительства обозначились контуры нового закона о печати. Он был похож одновременно и на английский, и на французский, и это немного утешало. Моральная атмосфера настолько улучшилась, что русская пресса почти не заметила некоторого ужесточения цензуры. Причиной этому было то, что, компенсируя «послабления» министров и правительства в целом, начальники рангом пониже, напротив, призывали своих подчиненных к «бдительности». К концу 1863 года цензурный гнет явно усиливался, и это странно диссонировало с общей атмосферой ожидания каких-то перемен. Не только в журналистике, но и в частных письмах мелькали растерянность, безнадежная тоска, чувство безысходности.

И. С. Аксаков, в противовес яростному сарказму Зарина, переживал проблему, как отец переживает болезнь любимой дочери. В одном из своих писем он писал: «Энергия моя слабеет, руки опускаются, и, кажется, бежал бы вон из России, этой безнадежно больной. Что бы там ни говорили, а свобода слова если и не панацея от всех болезней, то, по крайней мере, есть воздух, которым дышишь. Стеснение слова есть лишение легких воздуха. Нельзя ни подвигаться, ни действовать, ни мыслить, если вы чувствуете стеснение в груди, а это именно ощущение души и давит современного образованного человека в России. Дайте мне сначала почувствовать себя свободным, а там уж я подумаю и придумаю, как избавиться от всех прочих зол...» (17, 270). Сравнивая свободу с воздухом, Аксаков считает его отсутствие причиной всех несчастий современного ему русского общества: нельзя сделать человека счастливым, лишив его возможности дышать.

На другом крае общественной русской жизни министр внутренних дел П. А. Валуев уже готовился, согласно проекту, принять под свое покровительство русскую литературу, освобожденную из-под опеки Главного цензурного управления при министерстве народного просвещения. В специальном циркуляре, адресованном чиновникам его министерства, он подчеркивал: «...в настоящее время, в виду совершающихся

или предпринятых преобразований по разным отраслям государственного управления... цензура обязана соблюдать особую осторожность; охотно допуская обмен различных мнений по вопросам, ныне подлежащим общественному обсуждению... цензура обязана не допускать появления в печати того, что противоречит основным началам нашего государственного устройства и коренным условиям общественного порядка...» Называя этими обтекаемыми словами бюрократический произвол и административное управление страной, Валуев считает их самыми болезненными, уязвимыми точками государственного устройства России. Призывая к «бдительности» своих сотрудников, Валуев указывает, что необходимо следить не просто за отдельными публикациями журналов, но и за их «направлением», так как «не подлежит сомнению стремление некоторых из них к систематическому осуждению правительственных распоряжений, к оглашению по преимуществу тех фактов, которые могут возбуждать или поддерживать раздражение умов в разных слоях населения...» (10, 3—5).

П. А. Валуев испытывал в эти дни ужасное состояние. С одной стороны, ему было поручено либерализовать отношения правительства и печати, но с другой: почувствовав, что удавка на шее чуть-чуть ослабла, тут же забыв о недавних ужасах своего тридцатилетнего рабства, печать бодро включилась в процесс обсуждения самых злободневных вопросов, к «оглашению» того, что ранее замалчивалось, к «обсуждению» того, что раньше разрешалось только хвалить. При этом в журналах стали печатать такое, о чем раньше даже и думать не смели. Постепенно входя в роль «доброго дяди» для русской литературы, Валуев решил действовать на два фронта. Выдав строгий циркуляр своим подчиненным, он тут же «подслащивает» пилюлю, издавая еще один, содержащий пресловутые «послабления» и, вместе с тем, помогающий разобраться, что можно, а что нельзя в отношении острых публицистических материалов.

7. СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ЦЕНЗУРА «ПРОСВЕЩЕНИЮ»? ДИАЛОГ ДВУХ МИНИСТРОВ О ПОЛЬЗЕ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

*«Взвешен, пойман на каждом словечке
Сочинитель дрожал предо мной —
Повертится, как муха на свечке,
И увидит тихомолком домой».*

Н. А. Некрасов
«Газетная»

Циркуляр министра внутренних дел от 29 июля 1863 года, содержание которого можно свести к следующим пунктам:

«1. Относительно обличительных статей находим, что беспрепятст-

венно могут появляться в частных периодических изданиях изображения личных недостатков должностных лиц, согласно § III и IV высочайше утвержденным 12 мая 1862 г. правилам, но отнюдь не нападки на авторитет правительственных, особенно высших, учреждений и званий путем обобщения отдельных фактов или придания им типического значения, как последствий неудовлетворительной организации всего государственного управления...

2. По вопросу о статьях, излагающих преимущество представительного образа правления... появление их в печати не может быть допускаемо не только если в них идет речь о непосредственном применении этого образа правления к нашему государственному устройству, но даже когда... они выражают особую мысль о существовании, будто бы, такого образа правления в нашей народной жизни и о применении его к настоящим правилам...»

Как мы видим, особую крамолу Валуев видит в посягательствах на «колосса на глиняных ногах» — российскую бюрократическую систему, которая непременно рухнет, если ее не защитит подвластная ему цензура. Вопрос о народовластии так не мил Валуеву из-за отчетливой ясности в том, что при народовластии не будет нужен дорогой его сердцу паразитический нарост на теле России — те самые «учреждения», гармонично сочетающие в себе свойства комара и бездонной бочки, которые призван защищать от «подрывателей основ» — журналистов он, Валуев. Но как же «завинчивая гайки» можно что-то разрешить? Выход есть: разрешать что-то критиковать при условии, что рядом с такой статьей должна быть помещена статья «в противоположном духе», и это спасет русскую прессу от скверной тенденции к «систематическому заявлению одних недостатков при совершаемых ныне правительством улучшениях во всех сферах государственного управления» (10, 11—13).

Эти старания укрепить качающийся административно-бюрократический механизм России Валуев маскирует, естественно, заботой о благе народа. В органе МВД, газете «Северная почта», министр пишет, демонстрируя отеческую заботу о желторотой, податливой всякой идеологической инфекции русской публике: «Масса читателей не обладает ни большою самостоятельностью взглядов, ни значительным запасом знаний и самостоятельной силой соображения. Она вообще легко поддается влиянию печатного слова и удобно усваивает себе чужие понятия и стремления, когда они приноровлены к ее ближайшим интересам или прикрыты лоском некоторой даровитости писателя...» («Северная пчела»,

1865, № 264). Покровительственно похлопывая по плечу «недоросля» — русскую публику, министр проповедует свои полицейские откровения. Самое ужасное в этих откровениях — это как раз та доля истины, которая в них содержится: бесхребетность и особая склонность все напечатанное тут же принимать за правду воспитывались в русском человеке веками. Но Валуеву невдомек — или он только делает вид, что не понимает, — что этот провозглашенный им умственный рахит русской публики как раз следствие того отсутствия свежего воздуха, который он так усердно «перекрывал».

Пока шел этот диспут между правительственной цензурой (МВД и Министерством просвещения) и русской литературой, складывавшийся по модели Крылова «Волк и Ягненок», в диалог иногда вмешивались третьи силы, причем сколь решительно, столь же и неожиданно. Например, рядовые цензоры, заинтересованные в изменении устава, может быть, не меньше, чем сами литераторы. Они не хотели быть пешками в этой игре и под влиянием перемен в общественной жизни почувствовали в себе желание и силы обрести свой собственный голос. Превеличивать значение таких выступлений нельзя, но можно ли не удивляться, что одна из самых решительных реплик в защиту законности и правового государства раздалась именно из правительственных сфер. Три члена комиссии Д. А. Оболенского — А. Ф. Бычков, И. Е. Андреевский, Е. М. Феокистов — выступили со своим «особым мнением», и это следует признать одним из самых светлых моментов в деятельности русского чиновничества XIX века. Суть его заключалась в том, что в новом уставе о печати недопустимо планировать новые противозаконные меры, а именно: какие-либо взыскания на печатный орган, которые будут наложены без суда с правом защиты обвиняемого. Вопрос о качестве нового закона вышел на новый уровень — с плоскости выяснения того, что «пускать», а что «не пускать», на постановку проблемы законности каких-либо требований к печати вообще.

Они указывали: «цензуру предварительную предлагается уничтожить как вредную, основанную на произволе, и, вместе с тем, является намерение заменить ее опять произволом, но еще более вредным. Действительно, произвол административных взысканий делается более широким и тяжким, чем произвол предупредительной цензуры... Какие бы ни были придуманы виды административных взысканий, все они будут основаны на произволе, а следовательно, окажутся несправедливыми и для самого правительства бесполезными» (11, № 10—11, 1—4). Далее авторы этого мнения делают вывод, совпадающий с точкой зрения писателей: вопрос о реформе цензуры упирается в вопрос о реформе су-

допроизводства, после которой можно поставить на законную основу любой контакт правительственного органа и любого гражданина, в том числе автора статьи или редактора журнала. Необходимо именно суд присяжных, то есть суд общественности, суд людей, которым доверяет народ и общество. «Опасаться общественного суда присяжных,— подчеркивают авторы «мнения»,— выбранных из среды граждан-собственников, и надеяться на опору сословия, еще не заслужившего доверия, было бы крайне неосторожно» (там же, с. 4).

Цензура тем временем «зависла» между двумя министерствами, и передача ее из министерства народного просвещения в МВД стала темой переписки двух министров. Особенно интересен текст письма А. В. Головнина, который очень своеобразно интерпретирует вопрос о том, почему не лезет цензура в рамки народного просвещения, министерство которого он возглавляет.

«При вступлении моем в заведование цензурой в самом конце 1861 года, высшее управление ее сосредоточивалось в коллегиальном учреждении (главном управлении цензуры), а самое цензирование проводилось как цензорами в ведомстве министерства народного просвещения, так и многочисленными специальными цензорами других ведомств. Правительство было недовольно цензурой и находило: с одной стороны, цензурные постановления недостаточными, а с другой, в цензурной практике видело слишком большую снисходительность. Литераторы, и в особенности редакторы журналов и газет, жаловались на слишком большую строгость цензуры, на произвол цензоров, на медленность хода цензурных дел... жаловались на неизвестность им цензурных постановлений, которые оставались в архивах и не были обнародованы. Наконец, сами цензоры тяготились неясностью, неполнотою и разноречием цензурных постановлений, вследствие чего они вынуждены были действовать произвольно; причем они утверждали, что правительство требует от цензурной практики несравненно более строгости, нежели требуется законами; говорили, что правительство само не знает ясно, чего оно хочет в цензуре, и доказывали это изменяющимися со дня на день требованиями и разнообразием в действиях специальных цензур разных министерств, из коих одна пропускала то самое, что запрещалось другою, и наоборот.

Все сие приводило к убеждению о необходимости следующих мер:

1. Немедленно собрать, привести в ясность и напечатать в хронологическом порядке все постановления и распоряжения правительства, состоявшиеся в разное время по цензуре.

2. Приступить к пересмотру всех этих постановлений, также бывшей у нас цензурной практики... Вследствие чего... учреждена особая комиссия для пересмотра постановлений по делам книгопечатания и составления нового устава, причем для соображений комиссии выписаны были из-за границы сборники тамошних постановлений... В то же время, дабы лучше узнать желания и мысли самих литераторов о лучшем

устройстве цензуры, многие из этих лиц приглашены были к доставлению министерству народного просвещения... причем разрешено было рассуждать в периодической печати о лучшем устройстве цензуры. Последняя мера принесла скоро большую пользу, ибо ближайшим разъяснением иностранных законодательств она показала всю неверность многих воззрений. При этом следует сказать, что в то время была надежда на весьма скорое осуществление судебной реформы и предполагалось, что устав о книгопечатании может выйти вслед за преобразованием судов... По сему, в ожидании этой реформы... комиссии было предложено составить систему переходных мер от цензуры предварительной, не удовлетворявшей ни правительство, ни литературу, к цензуре обратной...

Исполнение этого плана начало уже ознаменовываться весьма благоприятными результатами. В обсуждении многих важных вопросов общественного нашего устройства литература заговорила спокойным, обдуманным тоном, и многие ее органы, вместо того, чтобы упорствовать в бесплодной оппозиции правительству, старались служить ему опорою...

Главный «недостаток», как деликатно выражается министр, «переходного периода» (который затем растянулся почти на полвека) заключался в том, что сложилось устойчивое неравенство цензуры в отношении к различным печатным органам. Парадокс состоял в том, что чем большую заинтересованность в решении насущных общественно-политических вопросов проявлял тот или иной журнал, тем меньше возможностей для публикаций на эту тему у него было. Гласность в этот период означала позволение говорить о ранее запрещенном, причем одним позволялось гораздо больше, чем другим. Особенно, например, был замечен контраст между «Московскими ведомостями» М. Н. Каткова и «Современником» М. Е. Салтыкова-Щедрина. В результате этого, как ни удивительно, в правых печатных органах можно было подчас увидеть больше политических материалов, чем в номерах связанного по рукам и ногам «Современника».

8. СЛАБОСТИ НОВОГО ЗАКОНА

*«Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы —
Осмевать закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью моему...»*

*А. С. Пушкин
«Послание цензору»*

В обсуждении проекта нового устава было высказано много мнений, более или менее аргументированных, имевших для «власть имущих» большее или меньшее значение. Среди рецензий, обладавших наи-

большей глубиной и, одновременно, наибольшим значением для правительственных кругов, была статья Модеста Андреевича Корфа, члена Государственного совета, начальника (с 1855 года) только что образованного Главного цензурного комитета, в следующем же году подавшего царю прошение о роспуске этого комитета или его решительном преобразовании. Однокашник А. С. Пушкина по Лицею, Корф проделал стремительную карьеру, став одним из самых влиятельных сановников России середины века. Важно то, что в 1864 году, когда была написана его рецензия, он был назначен председателем департамента законов Российской империи. Его голос звучал внушительно и компетентно. Вот что мы находим в «записке» М. А. Корфа:

— предварительная цензура плоха тем, что одобряет или, как выражается автор, «премирует» лишь определенный круг идей, изгоняя остальные из умственного обихода страны. Естественно поэтому, что она впадает в массу ошибок, из каких талантливых и добросовестных людей она бы ни состояла. Кроме того, «история представляет не один пример самого крайнего умственного разврата в обществе при строжайших цензурных преследованиях»,

— она «лишает правительство драгоценной помощи и поддержки в исполнении лежащих на нем громадных обязанностей»,

— она вредна для России именно в тот период, когда государство вступило «мало-помалу на путь истин, давно выработанных Европой».

Отсюда вывод, который Корф формулирует следующим образом: «дарование большей свободы печати в настоящую пору должно признать более своевременным, чем когда-либо. Правительство в течение ряда последних годов не только не шло наперекор стремлениям страны, но, напротив, во всех своих мерах стремилось постоянно предупреждать самые задушевные ее желания. Если, действуя таким образом, оно еще не признает себя вправе на сочувствие и поддержку общественного мнения, то надобно потерять надежду когда-либо приобрести эту поддержку...»

Далее автор комментирует распространенное в правительственных кругах мнение, что народ и общество не готовы к реформам, тем более — к свободе печати: «Ни население, ни судебные органы, очевидно, никогда не освоятся с явлениями свободной печати, если она продолжает знать о сей печати только понаслышке. Дать обществу на самом деле пользоваться этой свободой настолько, чтобы и она стала входить в его нравы и образовывать его взгляды и понятия, совершенно необходимо...»

И самое главное: сократить до минимума все вмешательство администрации в дела литературы, — указывает бывший начальник Главного

цензурного управления России, человек более других компетентный в этом деликатном вопросе. Для этого нужно, по его мнению, отменить всякое единоначалие в решении любого вопроса, касающегося цензуры и литературы, вырвав тем самым корень произвола, являющегося главным кошмаром подцензурной литературы.

О передаче цензуры в МВД Корф пишет: «... находясь по самому положению своему в непосредственном соприкосновении со всеми важнейшими вопросами дня и под неизбежным влиянием всех случайностей государственной жизни, он (министр внутренних дел.— К.Б.) иногда невольно должен будет более, чем следует, увлекаться к тому, чтоб действия свои в отношении литературы подчинять временным административным видам и законы о печати обращать в орудие к достижению разнообразных меняющихся целей. Никакие качества ума и характера и никакое внимание к делу не могут спасти государственного деятеля в таких обстоятельствах от пагубных по своим последствиям ошибок, а сверх того, с каждой переменной лица, стоящего во главе МВД, будет неизбежно меняться весь дух правительственной политики в отношении к печати. Произвол, непоследовательность, противоречия останутся, таким образом, как бывало прежде, характеристической чертой этой отрасли управления... Все эти неудобства можно бы устранить только тем, чтобы, по крайней мере, по важнейшим из собственно цензурных дел, власть окончательного решения предоставить совету главного управления, чтобы его заключения могли быть отменяемы только в чрезвычайных случаях и не собственною властью министра, а не иначе, как комитетом министров».

Особенное негодование и сарказм Корфа направлены в адрес цензуры, ведающей ввозом в Россию иностранной литературы. «Я не умею дать себе отчета,— пишет он далее,— ...почему бы правительство, решившись внутреннюю печать нашу частью освободить от всякой предварительной цензуры... считало нужным относиться с такой исключительной строгостью к произведениям печати иностранной». Аргументы — те же, что и по вопросу о печати внутренней; такая политика вызывает:

1. подрыв международного престижа страны и рост недоверия к правительству, «запрещающему умственную жизнь»,

2. все равно эти книги ввозятся и распространяются — с десятикратной интенсивностью именно из-за запрета на них.

3. проходит через границу совсем не все и даже не лучшее из богатств мировой литературы, а «самое запрещенное», самое антиправительственное; необходимое для страны застревает в цензуре — крамола же провозится подпольно.

Вывод: необходимо немедленно освободить от всякой предварительной цензуры всю иностранную литературу, кроме изданий за рубежом на языках Российской империи — русском и др., и «не только не

препятствовать цензурным стеснениям ввозу и обращению у нас произведений иностранной печати, а стараться облегчать их распространение всеми путями» (6, 52—102).

И все это писал человек, какие-то десять лет назад входивший в злобедий «бутурлинский комитет», который держал в ежовых рукавицах всю русскую литературу в «мрачное семилетье» 1848—1855 гг. Времена явно изменились, и стремление к благу правительства и всего государства в целом приводило чиновников к выводам, за которые они сами раньше жестоко карали тех, кто их делал. Главное же то, что прислушиваться к мнению общества стало не недостатком правительственного служащего (как при Николае I), а деловым качеством чиновника. Сила общественного мнения, всегда загнанного в подполье, которая ранее была лишь потенциальным врагом, подлежащим подавлению, стала в каком-то смысле «непосредственным начальником» государственного человека. Такова логика того странного явления, что бюрократ николаевского времени стал, столь же ревностно, как и раньше, служа государству, — служить обществу и народу своей страны. Пусть не во всем, но хотя бы отчасти.

Если большинство средних «столональничков» с тележным скрипом приходило к неприятной для них истине, что литература не просто «враг внутренний»; но и в каком-то смысле дело полезное, то гуманитарная интеллигенция внимательно наблюдала за событиями, стараясь как-то повлиять на ход дел. Им не нужно было «перестраиваться», как старым николаевским кадрам, в их задачу, напротив, входило как можно более долго и как можно более точно оставаться такими же, какими они были всегда: непримиримыми ко всякой лжи и насилию над человеком. В 1864 году Н. И. Тургенев написал, изданную четыре года спустя за границей, удивительную книгу под вполне соответствующим ее содержанию названием «Чего желать для России?» (Лейпциг, 1868). Это своего рода ответ русской литературы на те же самые проблемы, которые мучили правительственные круги. Споры о том, каким способом лучше осуществлять насилие над литературой, он разрешает одним-единственным способом: разрубить этот гордиев узел, дав стране возможность иметь свободу слова. Его позиция представляет собой еще более категоричный ответ, чем сходная с ним идея И. С. Аксакова. Со свойственной именно ему несокрушимой логикой он доказывает, почему так невероятно трудно найти правильное решение по вопросу о цензуре:

«Весьма понятно, что различные попытки составить порядочный цензурный устав всегда оставались и теперь остаются совершенно безуспешными. Идея цензуры неразлучна с идеей произвола; цензура всегда будет и останется с произволом. Но есть ли какая-нибудь возможность обратить произвол в закон? Можно ли определить точные границы, из

коих он не должен выходить? Но тогда произвол не был бы произволом, то есть цензура не была бы цензурой. Таким образом, невозможность порядочного цензурного устава очевидна. Произвол должен быть заменен законностью, цензурный устав — законом о печати. Самый строгий закон лучше какого бы то ни было цензурного устава: по крайней мере, он более соответствовал бы и справедливости, и логике.

Составление закона о печати, здорового, умеренного, согласно с характером народным вообще и с положением народной словесности в особенности, не потребует особенных усилий от правительственного творчества. Следует только отрешиться от тех пустых предрассудков, кои в этом случае... затмевают понятия людей и здравый смысл...» (14, 29—31).

9. ПАДЕНИЕ «КРЕПОСТНОГО ПРАВА» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СВОБОДА СЛОВА

«Не понимая необходимости безграничной свободы печати, ничего понять нельзя...»

*Реплика Ф. М. Достоевского в разговоре, за несколько
ко дней до смерти (16, 427)*

В течение всего февраля и марта 1865 года в департаменте законов, возглавлявшемся М. А. Корфом, происходили напряженные дебаты о введении в проект тех дополнений, за которые ратовал сам М. А. Корф, рядовые цензоры и литераторы. В конечном счете был принят устав о печати, который вошел в историю России как «закон от 6 апреля 1865 года». Для того чтобы замазать его очевидное несовершенство, он стыдливо был назван «временным», но, как гласит пословица, нет ничего более постоянного, чем временные вещи. «Гласность», понятая как легкое «послабление печати», не перешла в России в естественный для нее исход — в свободу печати; в полном согласии с тем, что обещали русские писатели правительству в случае, если оно не примет мер к освобождению печати — общество уже в XIX веке разорвало тот самый прогнивший паровой котел, на котором лишь заменили клапаны — на более широкие, но и их, конечно, не хватило. Котел этот — сжатое тисками полицейских мер общественное сознание — твистел с нарастающей силой вплоть до 1917 года, и даже очередные «послабления печати» 1905 года не спасли государство от развала.

Итак, устав от 6 апреля 1865 года был принят на специальном заседании Государственного совета: 28 голосов — за, 14 — против. В законе сказано:

«Желая дать отечественной печати возможные облегчения и удобства, Мы признали за благо сделать в действующих постановлениях, при настоящем переходном положении судебной у нас части и впредь до дальнейших указаний опыта, нижеследующие перемены и дополнения:

I. освобождаются от предварительной цензуры:

A. в обеих столицах:

- 1) все выходящие донныне на свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание,
- 2) все оригинальные сочинения объемом не менее 10 печатных листов,
- 3) все переводы, объемом не менее 20 печатных листов.

B. Повсеместно:

- 1) все издания правительственные,
- 2) все издания академий, университетов и ученых обществ и установлений,
- 3) все издания на древних классических языках и переводы с сих языков,
- 4) чертежи, планы и карты.

II. Освобожденные от предварительной цензуры повременные и другие издания, сочинения и переводы, в случае нарушения в них законов, подвергаются судебному преследованию; повременные же издания, кроме того, в случае замеченного в них вредного направления подлежат и действию административных взысканий по особо установленным на то правилам.

III. Заведование делами цензуры и печати вообще сосредоточивается в Министерстве внутренних дел под высшим наблюдением министра, во вновь учрежденном главном по сим делам управлении...»

Полное собрание законов Российской империи.

Изд. 2-е, т. XL, ст. № 41988.

Итак, после ожесточенной борьбы был отвоеван маленький кусочек жизненного пространства, недостаточный для того, чтобы свободно дышать и говорить, но опять-таки очень удобный, чтобы окружать его забором «административных взысканий» по «особо установленным правилам»*. Этот новый закон почти полностью совпадает с принятым во Франции в 1852 году. Правда, тогда это воспринималось мировой общественностью как «драконовская мера» против французской литературы, как явный шаг назад. В России этот же, по сути, шаг выдавался за прогрессивную меру и действительно смотрелся неплохо — правда, только на одном фоне, на фоне предыдущего царствования «тирана в бот-

* То же самое, по существу, повторяется в «Законе о печати и других средствах массовой информации», вступившем в силу с 1 августа этого года. — К. Б.

фордах» Николая I. Новый закон был принят умеренными с радостью, демократически настроенной частью общества в траурном молчании.

Лучшей иллюстрацией переживаний писателей по поводу нового закона о печати, их иллюзий и надежд служит написанное по свежим следам стихотворение Н. А. Некрасова «Литераторы»:

Три друга обнялись при встрече,
Входя в какой-то магазин,
«— Теперь пойдут иные речи!» —
Заметил весело один.
«— Теперь нас ждут простор и слава!» —
Другой восторженно сказал.
А третий посмотрел лукаво
И головою покачал.

Было объявлено, что закон начинает действовать с 1 сентября 1865 года. Некрасовский «третий» литератор — демократическая печать назвала все это «временно-обязанной литературой». В оценках указа сочетались радостное умиление, мрачный скепсис, славословие и пессимизм. «Северная почта», орган Министерства внутренних дел, заклинала всех их «обязанностями», призывала к выдержке. «С.-Петербургские ведомости» сравнивали закон о печати с отменой крепостного права — в области духовной жизни; появление такого закона, утверждала газета, равносильно признанию нас, русского общества, совершеннолетними. Многие статьи в сентябрьских журналах вышли с одинаковым первым словом: «Наконец-то!..» И. С. Аксаков, не без ехидства, заметил, что теперь, по крайней мере, появилась какая-то возможность похвалить правительство — раньше такая похвала воспринималась как лицемерие и никто ее всерьез не принимал.

Можно было даже критиковать прошлые — теперь! — времена, хотя и не без риска. Стихотворение Н. А. Некрасова «Газетная» содержит довольно злую сатиру на вышедшего на пенсию цензора, по привычке читающего газеты с красным карандашом в руках, — в прежние времена подобное было бы невозможно:

...Среди праздных местечек,
Под огромным газетным листом,
Видишь, тощий сидит человек,
С озабоченным, бледным лицом.
Весь исполнен тревогою страстной,
По движениям похож на лису,
Стар и глух; и в руках его красный
Карандаш и очки на носу.

В оны годы служил он в цензуре
И донныне привычку сберег
Всё, что прежде черкал в корректуре,
Отмечать: выправляет он слог,
С мысли автора краски стирает.
Вот он тихо промолвил: «шалишь!»
Глаз его под очками играет,
Как у кошки, заметившей мышшь...
...— Ужасаюсь, читая журналы!
Где я? где? Цепенеет мой ум!
Что ни строчка — скандалы, скандалы!
Вот взгляните — мой собственный кум
Обличен! Моралист-проповедник,
Цыц! Умолкни, журнальная тварь!
Он действительный статский советник,
Этот чин даровал ему царь!
...К государственной росписи смеют
Прикасасться нечистой рукой!
Будет время — пожнут, что посеют! —
(Старец грозно качнул головой.)
А свобода, а земство, а гласность!
(Крикнул он и очки уронил):
Вот где бедствие! вот где опасность
Государству... Не так я служил!

О чинах, о свободе, о взятках
Я словечка в печать не пускал.
К сожаленью, при новых порядках
Председатель отставку мне дал...

Цензурный совет долго колебался: подвергнуть ли Некрасова ответу по суду или объявить первое «предупреждение» (нечто вроде basket-bolных фолов, после определенного количества которых журнал закрывался). Сошлись на предупреждении, и оно, за подписью министра, было объявлено «дворянину Н. А. Некрасову» и «чиновнику VIII класса Александру Пыпину» в очередном номере валуевской «Северной почты». Новый, долгожданный Закон о печати начал действовать...

Дальнейшие события показали, кто был в этом споре прав, кто виноват, но, к сожалению, «стрела времени необратима». Лев Толстой наивно считал, что в XX веке не будет войн — ведь он так ясно показал в своих произведениях, что в любой войне страдают и «победители», и «побежденные». Можно ли считать цензуру способом ведения «холодной войны» правительства с обществом? В этой тяжелой и бесплодной

борьбе страдают все ее участники: правительство, цензоры, литераторы, читатели. Не может быть отнесено к аграрным мероприятиям утаптывание сапогом посевов.

В конце концов рождается вопрос: идеологическая цензура как новизна насилия над человеком, имеет ли это «яблоко» свою «яблочную», или это сугубо самостоятельное, оригинальное явление? По-видимому, цензура — это воплощенный в специальный правительственный орган последовательный догматизм. Наблюдаем закономерность: чем больше догматизма и нетерпимости к чужому мнению, чем меньше демократии, чем меньше справедливости в общественном устройстве — тем больше свирепствует цензура. Оказывается, она не просто инструмент командно-административной системы типа «не рассуждать», это своего рода индекс, четко показывающий уровень демократизации в стране. Чем громче и чаще тикает этот «счетчик Гейгера» и падают «запрещенные» мысли и слова, тем опаснее находиться в этом обществе. Догматизм страшен сам по себе, безотносительно к тому, какие истины проповедуются: монархизм во вкусе Павла I или коммунизм в интерпретации И. В. Сталина. Чем больше в обществе «лакейства мысли», тем напряженнее и сосредоточеннее работает либо щедринский Угрюм-Бурчеев, либо его же Иудушка Головлева.

Отсутствие живого, естественного диалога внутри общества умертвляет общественное сознание, превращая общество в идиота, не способного не только к самокритике, но даже к рефлексии, взгляду на себя со стороны. Отсюда постоянное стремление делать все «как другие», опираясь на чужие достижения и презирая свои собственные. Отсюда и результат: регулярное покаяние с похмельем пополам — нормальное состояние для общества, чуть-чуть вырвавшегося из тисков тяжелого отравления «благонамеренностью».

Очевидно, что история учит лишь тех, кто желает учиться; давайте учиться у нашей отечественной истории. Сегодняшние опасения работников партаппарата, что вышедшая из-под идеологического контроля пресса наделает немало бед, очень понятны. Здесь вопрос лишь в том, что считать бедой для общества: его, общества, свободу или подчинение «органам». Гораздо более серьезным выглядит страх перед свободой слова, выраженный самими нашими писателями — С. Залыгиным, В. Беловым и др., считающими, что только принятый новый Закон о печати грозит многими отрицательными последствиями. Эти сомнения и опасения опять воскрешают перед нами фигуры прошлого — М. А. Корфа, Д. А. Оболенского, А. П. Николаи, А. В. Головина, П. А. Валуева — с их сомнениями в готовности русского общества жить в условиях свободы. Опять возникает вопрос о юридической обеспеченности Закона, о суде присяжных и о злоупотреблениях против свободы слова...

Принятый в июне 1990 года Закон о печати выглядит сегодня очень смелым и прогрессивным — на фоне мрачного силуэта идеологической тюрьмы, который все еще маячит перед нашими глазами. Но через несколько лет этот Закон, наверняка, потребует переработки — остатки административного контроля над печатью потребуют окончательного устранения. Общественное самосознание быстро растет, и скоро обществу будет мал тот костюм, ограничивающий права прессы, — он сегодня многим кажется чересчур велик и слишком хорош. И как хотелось бы, чтобы наш парламент не запаздывал с принятием новых формулировок Закона о печати, который когда-нибудь все же будет называться у нас «Закон о свободе слова» и действительно будет таковым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лемке М. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 г. Спб., 1904.
2. Мнения разных лиц о преобразовании цензуры. Спб., 1862.
3. Материалы, собранные особою комиссией, высочайше утвержденной 2 ноября 1869 г., для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати. Спб., т. I, 1870.
4. Записка председателя комитета для пересмотра цензурного устава д. сов. Берте и члена сего комитета ст. сов. Янкевича. 1862.
5. Сборник статей, не дозволенных цензурою в 1862.
6. Материалы, собранные особою комиссией..., т. 2. Спб., 1870.
7. Биншток В. Материалы по истории русской цензуры.— Русская старина. 1897. № 3.
8. Всеподданнейший доклад министра народного просвещения по проекту устава о книгопечатании, читанный в совете министров 10 января 1863 г. Спб., 1863.
9. Первоначальный проект устава о книгопечатании. 1862.
10. Сборник распоряжений по делам печати с 1863 г. по 1 сентября 1865 г. Спб., 1865.
11. Журналы высочайше утвержденной комиссии для рассмотрения проекта устава о книгопечатании. Спб., 1863.
12. Отношение министра народного просвещения министру внутренних дел от 7 декабря 1863 г. № 11510. Спб., 1862.
13. Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 г. Спб., 1862.
14. Тургенев Н. И. Чего желать для России? Лейпциг, 1868.
15. Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений в 15-ти томах, т. 2. Л., 1981.
16. Исторический вестник, 1881, № 3.
17. Аксаков И. С. в его письмах, ч. 2, т. IV. 1896.

СОДЕРЖАНИЕ

Способы укрощения печатного слова. (Введение) . . .	3
1. «Гласность» 1850—1860-х годов с точки зрения главного цензора России	9
2. Письмо русских писателей в МВД	12
3. О полезных свойствах цензуры. Ответ МВД . . .	17
4. Похожие «мнения разных лиц». Историческая книга	20
5. Призыв князя Д. А. Оболенского	25
6. Проект Закона о печати и его критика	28
7. Способствует ли цензура «просвещению»? Диалог двух министров о пользе изящной словесности . . .	32
8. Слабости нового закона	36
9. Падение «крепостного права» русской литературы. Несостоявшаяся свобода слова	40

БАРШТ Константин Абрекович

ПОДЦЕНЗУРНЫЕ СТРАСТИ

Редактор А. Ю. Чернов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова.

Сдано в набор 3.08.90. Подписано к печати 3.10.90. Формат
70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная пе-
чать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 2,98.
Тираж 150000 экз. Зак. № 2667. Цена 10 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография име-
ни В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП,
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ!

● С 1 января 1990 года введено добровольное страхование имущества арендаторов, по которому можно застраховать урожай сельхозкультур и многолетних насаждений, деревья и кусты плодово-ягодных и других многолетних насаждений, животных, здания, сооружения, сельскохозяйственную технику, транспортные средства и пр.

● Перечень событий, от которых проводится страхование, включает практически все стихийные бедствия природы и несчастные случаи, а также гибель животных от широкого круга болезней.

● **Застраховать можно:**

урожай сельхозкультур и многолетних насаждений — в определенной доле, но не более 70% стоимости;

животных — в определенной доле, но не более 80% стоимости;

здания, сооружения и др. имущество, а также многолетние насаждения — в полной стоимости, либо в определенной доле этой стоимости

● Договоры заключаются сроком на один год и на неопределенный срок с ежегодным перерасчетом стоимости имущества. Со страхователями, деятельность которых носит сезонный характер, может быть заключен договор на срок от 3 месяцев до 1 года. Тем из них, кто заключал договоры страхования указанного имущества в полной стоимости без перерыва не менее трех лет, будет предоставляться месячный льготный срок для заключения нового договора и скидка в размере до 40% с исчисленной суммы платежей, если страхователь не получал никаких выплат.

● Подробнее ознакомиться с условиями и заключить договор можно в инспекции государственного страхования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СССР
ПРАВЛЕНИЕ